



ВСТУПЛЕНИЕ

На самом исходе лета, в середине августа, накануне праздника Преображения Господня, во Введенском храме Оптиной пустыни произошла следующая сцена.

Когда исповедь была закончена и священник собирался уже взять в руки крест и Евангелие, чтобы унести их в алтарь, из затененного угла в круг света неожиданно выступил невысокий мужчина лет пятидесяти, неловко поклонился, показав при этом довольно обширную плешь, оглянулся по сторонам и без всяких предисловий зашептал решительной хриплой скороговоркой:

— Грешен, батюшка, в убийстве... Вернее сказать, в массовом убийстве. Семь человек положил, ближних своих... Братьев своих... Семерых, можно сказать, каинов. Бог спросит: «Авель, где братья твои, каины»? А я отвечу: «Господи, я их к тебе отправил, ищи их души там... А на земле среди людей их больше нет».

Опытным чувством священник тотчас определил, что перед ним человек, теряющий разум. Как на грех, рядом никого не было, не считая маленькой ветхой старушки в белом платке, которая никак не могла установить в гнездо подсвечника свою валковую свечку.

Но, внимательно взглянув в близкое бледное лицо странного паломника, священник вдруг засомневался в правоте своего первоначального умозаключения и ровным голосом проговорил, указывая на крест и Евангелие:

— Бог вам судья. Вы успокойтесь... Давайте по порядку...



Иван Прозоров

Иван Васильевич Прозоров, подполковник Главного разведывательного управления Министерства обороны, был уволен со службы по сокращению штатов и в связи с очередной, едва ли не десятой по счету, реорганизацией силовых структур. Молодой бритый чиновник из новых, отведя глаза, с издевательской холодной вежливостью объяснил ему, что, дескать, специалисты такого профиля, пусть даже и высочайшей квалификации, стране больше не нужны, поскольку нынешняя военная доктрина строится на совершенно иных принципах.

«Что, прошла вражда племен?» — поинтересовался, в свою очередь, Прозоров, попытавшись вложить в свои прощальные слова как можно больше едкой иронии, но чиновник уткнулся в бумаги и не удостоил его ответом.

Разумеется, все эти организационно-кадровые кульбиты на первый взгляд выглядели полнейшей глупостью, но поскольку в искренность такой глупости невозможно было поверить, то вывод напрашивался сам собой, и вывод этот был единственно возможным — предательство и измена. Однако сдать такую огромную страну оптом и сразу никак невозможно, а потому ломали дольками, исподтишка отщипывали по кусочкам, торговали мелкой розницей. Впрочем, не такой уж и мелкой, если принять во внимание гигантские разломы, страшно зазиявшие по границам бывших союзных республик, и не так уж исподтишка, если, оставив за пределами России двадцать миллионов русских, власти помпезно и громогласно справляли День независимости...

Иван Прозоров, оказавшись на улице, вне Системы и практически без средств к существованию, испытал естественную обиду и разочарование, но все-таки сквозь сумбур горьких обрывочных мыслей упорно пробивалась од-

на — пусть до конца не оформившаяся, но ясная: что же лично он, офицер, гражданин и многое повидавший на своем веку русский мужик, способен сделать для перемены жизни к лучшему? И своей, и того государства, которому он служил? При всей выпренности подобной формулировки ни тени пафоса в ней не было.

Взвесив свои навыки, знания, силы и проанализировав общую обстановку, он понял, что в лучшем случае, при удачном стечении обстоятельств, он сможет, к примеру, единолично подготовить операцию и пристрелить какого-нибудь крупного политического негодяя, но такое действие в данной ситуации ни расстановки сил, ни общего положения дел не меняло. Все бы свелось к захватывающему телешоу, подобному трансляции расстрела Белого дома, пару недель о нем бы судачили взбудораженные обыватели, но затем, уяснив, что ни в их личных судьбах, ни в судьбе страны принесенная жертва ровным счетом ничего не меняет, быстренько бы успокоились, вернувшись к своим повседневным делишкам, дающим им шанс на элементарное выживание-прозябание.

К тому же Прозоров был твердо убежден, что мировая история дрейфует, как материк, и время от времени, по мере накопления внутренних энергий, тысячелетние тектонические пласты начинают сдвигаться, а потому, в какую бы сторону ни дули переменчивые и капризные политические ветры, нужно чутко чувствовать именно материковое движение тектонических пластов и сверять по ним направление собственного движения. Искусный политик — это человек, способный угадывать направление дрейфа материка и встающий со знаменем именно на этом направлении. Тогда и ему, и всем окружающим начинает казаться, что он командует и управляет этим весьма мало от него зависящим процессом. Можно было бы подождать благоприятных естественных перемен, но История оперирует цифрами гораздо большими, нежели мера человеческой жизни. Поэтому Прозоров, после недолгих размышлений, плюнул на неповоротливую косную Историю и решил прежде всего устроить свою личную жизнь, а уж потом подумать о вечном и справедливом.

«Ладно, — подумал он, — для начала подремонтируем корабль собственной жизни, залатаем пробоины и устраним хотя бы явные течи...»

Он был не лишен склонности к образному мышлению.

Но, как выяснилось буквально на третий день после увольнения, личная жизнь его дала такой крен, что выправить его было никоим образом невозможно.

— Что ж, — сказал он после мучительного и тягостного выяснения отношений с женой. — Крысы пусть уходят с корабля. Капитан покидает его последним. — И добавил, попутно подумав о том, как же богат русский язык и приспособлен именно для подобных горестных ситуаций: — Баба с возу, кобыле легче...

— Во-первых, — возразила жена, — крысы с корабля не уйдут. Во-вторых, капитан в данном случае покинет судно первым. А в-третьих, баба останется на возу, а кобыла, вернее, конь — пусть вылезает из хомута и пасется сам по себе... Надеюсь, на этом все аллегии закончены. — Она отвернулась, толкнула дверь, ведущую в ее комнату, обронив на прощание: — Да, пока не забыла, там тебе письмо пришло от братца, в прихожей на полке лежит...

— Хорошо, что не забыла, — сказал Иван Прозоров, почувствовав вдруг огромное душевное облегчение от этого ее категорически отчужденного тона. — Квартира, без всяких условий, остается тебе... Сиди на своем возу. Нового коня, надеюсь, ты уже подыскала... Но замечу тебе, вернее, напомним: на переправе коней не меняют.

— Разумеется, подыскала, — нервно откликнулась жена, и глаза ее сузились. Ей было неприятно, что разговор сам собою сбился на какой-то неуместный, едва ли не шутливый тон, но удержаться от филологических шуточек и выйти на уровень обыкновенной вульгарной ругани она не смогла: — Разумеется, я подыскала коня! Пока ты шатался по своим тундрам и Забайкальям, пока ты месяцами сидел якобы на Севере, а потом являлся ко мне с южным загаром и травил байки про стройбатовские будни... Что дала тебе твоя армия, кроме этой двухкомнатной развалюхи, кроме командировок и возможности обманывать меня? Неудачник, ты всегда был неудачником... А вокруг неудачников все становятся неудачниками, это болезнь заразительная и трудноизлечимая... Так что извини меня, но выдохшихся коней меняют в любом месте, а уж на переправе тем более!

Иван Прозоров молча слушал этот монолог, испытывая довольно болезненные и противоречивые чувства.

Главным было чувство нахлынувшей на него свободы и какой-то связанной с этим праздничной безответственности. Вероятно, в глубине души он и сам давно жаждал этой свободы, ибо, откровенно говоря, жену свою давно не любил, только боялся себе в этом признаться, потому что бросать женщину увядшую и постаревшую считал подлостью. Теперь же он был едва ли не благодарен ей за то, что она сама приняла на себя удар, сама сделала этот выбор, избавив его от нравственных колебаний. Но и, конечно, примешивалось сюда чувство чисто мужской досады, впрочем, довольно слабое. Уж он-то знал про себя гораздо больше, чем она могла представить.

Естественно, он был для нее серым армейцем, скромным землемером, подыскивающим на краю света в лесотундре какие-то строительные площадки для военных объектов и складов. Разве расскажешь ей теперь, что тот южный загар, который она проницательно связала с курортными развлечениями мужа, был действительно южным загаром, южнее не бывает... За сорок дней мучительного перехода по иракским пустыням и плоскогорьям загорись так, как не загорись ни на одном курорте мира.

Их было тридцать человек, разбитых на три группы, и задача, перед ними поставленная, была предельно конкретна, хотя и невероятно сложна.

— Значит, так, товарищи офицеры, — сказал им старый генерал, пожалуй, единственный, кто еще каким-то чудом оставался в штате управления из прежней «гвардии». — С заданием вы ознакомлены, папки сдадите мне, теперь — о деталях... — Он поднялся с места и подошел к подробной карте Ближнего Востока, встал перед ней с деревянной указкой, точно учитель географии в средней школе. — Проходы к «объекту» пройдут по гористой местности. — Указка уперлась в карту. — Маршрут первый, маршрут второй и, наконец, третий. Связь на волне — 61.2. Перемена волны — согласно данному вам графику с привязкой по времени переходов. Обеспечение маршрутов — на людях вполне надежных. Они же исполняют дозорно-разведывательные функции. Но следуют они с вами исключительно до «объекта». Вернее, до подступов к нему — ни им, ни нам не нужны политические осложнения, главный противник и так озлоблен донельзя... Через двенадцать часов будете на месте. Если «объект» уже обнару-

жен противником, целесообразность огневого контакта оцениваете по ситуации. Сможете перебить их десант и уйти с обломками — считайте, уходите с орденами. Не сможете — не осужу. Трусов среди вас нет, а самоубийц я не уважаю. К тому же опять-таки — политические осложнения... В общем, грамотно и трезво взвесьте оперативную обстановку вокруг «объекта». Все ваши три группы действуют автономно. При эксфильтрации групп никаких вертолетов и никакой техники не будет. Весь экспорт — на горбах. Помощи тоже никакой. Отныне вы безымянные граждане мира, люди без государства. Рассчитывайте только на себя. Ну, и как обычно: на опыт и на смекалку. На удачу, естественно. Все, с богом! Самолет уже на парах, парашюты сложены...

Если бы теперь Прозоров стал рассказывать жене о том, как шли они по раскаленным пескам, волоча в рюкзаках обугленные фрагменты сбитого самолета-невидимки, хоронясь в трещинах и расщелинах, как проявляли «русскую смекалку», как добывали воду и слизывали с камней скудную утреннюю росу, как съели, поделив побратски, убитую кобру, как похоронили в пустыне троих из десяти...

Он горько усмехнулся, представив себе ироничный взгляд жены. Затем прошел на кухню, сдвинул с места старенький холодильник, отметив появление ржавых проплешин на некогда атласно-беленьких стенках, и, приподняв отверткой плитку пола, запустил руку в свой домашний тайник. Пальцы скользнули по шероховатой мешковине, в которую было обернуто трофейное оружие, привезенное с первой чеченской: «стечкин», миниатюрный «маузер» и — откованный в Кубачах штык-нож, способный, как пеньку, резать металлические буксирные тросы. После нашупал коробочку с орденами и медалями.

Открыв ее, рассеянно поглядел на позолоту, серебро и вишневую эмаль наград. Как он ждал того дня, когда сможет предъявить все это жене... Вот они, знаки, должны примирить их прошлые одиночества, примирить, наконец-таки, навсегда...

А что, если предъявить, не отказать себе в этом последнем удовольствии? Нет, не стоит.

Он аккуратно положил коробку обратно и установил холодильник на место.

Зачем он потревожил тайник, Прозоров не смог бы внятно объяснить никому, даже себе. Вероятно, ему было попросту необходимо прикоснуться к своему прошлому — ныне бесполезному. И даже опасному, если соотнести свой статус уволенного из военной разведки офицера, ставшего сугубо гражданским лицом, и — криминальное, вывезенное контрабандой из мест боев, оружие, расставаться с которым он все-таки не хотел. Как, впрочем, и добрый десяток знакомых ему сослуживцев.

Захлопнулась за спиной дверь квартиры, захлопнулась за спиной дверь подъезда. Он завернул за угол дома, вышел на широкую дорогу и огляделся. Странное настроение овладело им — как будто в одночасье со всем миром произошла удивительная и чудная перемена — мир вдруг перестал быть чуждым и враждебным.

Будто некая пелена спала с глаз Прозорова, и незримые оковы и скрепы, мешающие ему свободно двигаться, рассыпались внезапно в пыль, оставив после себя ощущение их прошлой — коварно-незаметной, а ныне — осознанной и невыносимо жмущей тягости. И вместе с тем наполнилось сердце Ивана Прозорова какой-то спокойной и умудренной уверенностью.

— Ну что ж, — сказал он вслух, — начнем все сначала. Прочь из этого города, отрясем его прах с наших ног. К брату в деревню, в Черногорск! На все лето...

И это внезапное и твердое решение ехать в деревню к брату, к которому он не мог выбраться несколько лет из-за всяких, как оказалось теперь, ненужных и пустых дел, мгновенно прибавило ему душевной бодрости, и он даже рассмеялся вслух — легко и беззаботно.

«Это называется пьян без вина, — подумал Прозоров. — Вот что значит — воля вольная и полное отсутствие обязательств перед кем бы то ни было...»

На билет до Черногорска и на месяц-другой полноценной деревенской жизни денег у него хватало, а далее... далее следовало отправляться обратно за скудной своей пенсией. Нет, оковы прежней жизни все-таки его держали... Мысль эта пришла ему в голову, когда он был уже в двух шагах от входа в метро, и спровоцировала эту мысль небольшая очередь у обменного пункта.

Деньги, деньги... Неотъемлемая составляющая человеческого бытия. Жить в обществе и быть свободным от бух-

галтерии — нельзя... А ему так хотелось стать свободным от всех мировых бухгалтерий!

Прозоров в растерянности остановился, задумчиво глядя на пластиковый стенд со съёмными цифрами, указывающими актуальный курс валют.

— Доллары, доллары... — тотчас услышал он тихое интимное бормотание и, обернувшись, увидел крепкого брюнета в кожаной куртке. — Куплю доллары... Без очереди, выгодно... — продолжал брюнет бесцветным голосом, глядя куда-то в сторону.

— А... это... — задумчиво пробормотал Прозоров, с нерешительным колебанием приглядываясь к уличному коммерсанту. — Не обманешь? У вас тут все обманывают...

— Зачем обижаешь? — Брюнет, в свою очередь, прямо и с легким укором взглянул на простодушное лицо Прозорова. — Я честный человек... Сколько у тебя?

— Тысяча, — признался Прозоров и ласково погладил пустой карман. — С небольшим... Только ты мне куклу не подсунь, я проверю...

— Конечно, о чем вопрос? Все на твоих глазах... Нужно только в тот двор уйти, а то менты сзади...

— Не-е, — трусливым голосом сказал Прозоров. — В тот двор, пожалуй, я с тобой не пойду. Там небось дружки твои... И вообще, знаешь, я передумал. Я лучше законным образом...

— Какие дуружки, слюшай!.. — хватая Прозорова за рукав, горячо зашептал брюнет, почувствовавший, что внезапная удача может уплыть. — Если там дуружки, в другое место отойдем, да? В какой хочешь подъезд...

— Не-е, — упирался робкий Прозоров. — Я лучше законно... Все ж таки тысяча, большие деньги... Что я жене скажу, если что?.. И потом, меня уже обманывали... Смотришь, на вид честный, поверишь ему, а он жулик...

— Чудак-человек! Твой же навар! Все на глазах, из рук в руки...

Спустя десять минут в глухом углу двора за гаражами, придя в сознание после кратковременного болевого шока и с трудом выбравшись из мусорного бака, весь шкворчащий от бессильной ярости Махмуд-Оглы Мирзабек стряхивал с воротника картофельные очистки, яичную скорлупу и банановую кожуру, топал ногами и кричал набравшим дружкам:

— Ишак! Зар-рэжу на фиг! Халдарык бешмык, бият! Клянусь мамой!

— Абулдак каралык! — стуча себя кулаком по голове, наседал на него бригадир ломщиков Мухтияр Гизоев. — Где деньги, джиляп?

— Урус шайтан! — хлопая себя по всем карманам, упавшим голосом говорил Махмуд-Оглы. — Крыстьянин! Савсем совесть потерял...

— Деньги где, деньги? — вторил Мухтияру и брат его Бехтияр Гизоев, проводя ребром ладони у себя под горлом...

А между тем деньги, еще не пересчитанные, ехали на такси и пересекали уже Садовое кольцо.

Поезд наконец-то вырвался из пределов Москвы, преодолел долгие пригороды и, бойко стуча колесами, летел уже среди солнечных полей. Мелькали придорожные посадки, а в прогалах между ними открывались милые приметы провинциальной цивилизации, дорогие всякому русскому сердцу: покосившиеся коровники, останки брошенных тракторов, гигантские элеваторы с темными проемами выбитых окон и тучами воронья, одинокая необитаемая кузня, березовый перелесок, а за ним — сложные ажурные металлоконструкции, мирно почивающие среди эпической равнины...

«Нет, эту землю нельзя завоевать», — думал Прозоров, точно возражая какому-то незримому оппоненту, и, хотя в мысли этой не было никакой видимой логики, никакой разумной основательности, тем не менее он чувствовал ее абсолютную верность и спокойную силу. Эта мысль была из разряда тех онтологических аксиом, которые ни в каких обоснованиях не нуждаются. Как то: все люди смертны, земля круглая, Вселенная бесконечна, дьявол существует...

— А доллар растет! — аккуратно складывая газету «Коммерсантъ», удовлетворенным голосом добавил вдруг сосед Прозорова, болтливый самодовольный хохол, который, судя по следам побелки вокруг ногтей, ехал с заработков из Москвы и вез где-нибудь в потайном кармане трусов небольшую толику этих самых растущих долларов.

Иван Прозоров вздрогнул и вернулся в реальный мир. Плацкартный вагон жил своей дорожной автономной жизнью, люди пили чай, резали колбасу, переговарива-

лись, шуршали целлофановыми пакетами. Где-то в дальнем конце плакал ребенок, хлопала дверь туалета...

Только теперь, оказавшись за пределами Москвы, в безопасном далеке от места совершения преступления, Прозоров почувствовал, в каком томительном внутреннем напряжении он находился все эти два часа. И напряжение это только теперь стало потихоньку отпускать его душу. Что ни говори, а это было первое его сознательное преступление, пусть не задуманное заранее, абсолютно не подготовленное, но все-таки совершенное им в здравом уме и трезвой памяти.

Чувствовал ли он угрызения совести? Как ни грустно в этом признаться — ни в малейшей степени!

Жалко ли ему было угнетенного представителя кавказской народности? Нет, откровенно говоря, нисколько не жалко.

И все-таки он испытывал внутренний дискомфорт. Попытавшись разобраться в данном чувстве, понял: его глодала всего лишь профессиональная досада от осознания халтурно сделанной работы. Он действовал наобум, как дилетант, без плана, без детальной и скрупулезной разработки акции, поддавшись безоглядному авантюризму и бесшабашной неосмотрительности, которые присущи скорее уличным хулиганам, но никак не профессионалам военной разведки.

«Ладно... Рано или поздно всякий может оступиться... — попытался он оправдать себя. — Но впредь, брат, нужно быть аккуратнее...»

Он усмехнулся: это само собою продумавшееся «впредь» — на самом деле означало многое... В частности, что подсознание его деятельно работало в определенном направлении и лелеяло уже некие дальнейшие, пока еще смутные, но однозначно преступные замыслы. По крайней мере не исключало их...

Прозоров полез в карман, потрогал пачку банкнот, половину из которых составляли те самые растущие доллары, и вдруг наткнулся на конверт с письмом от брата Андрея, которое он в сутолоке событий до сих пор не удосужился толком прочесть.

«Здравствуй, брат Иван!»

Прозоров невольно улыбнулся и углубился в чтение.

Письмо, как и ожидалось, представляло собою развер-

нутый отчет о текущих фермерских делах и повествовало о том, что в целом жизнь терпима, только банк жметя с кредитами да жена скучает по московской квартире и воюет с местными пьяницами, а дочка ходит в школу за четыре километра...

Однако в подтексте письма угадывалось, что фермерское хозяйство, на которое некогда возлагалось столько надежд и упований, находится на грани разорения. Что, впрочем, подтверждалось фразой: «...В общем, главное сейчас — преодолеть некоторые материальные трудности...»

Андрей, сводный брат Прозорова, был моложе его на четырнадцать лет. Практически никаких совместных детских воспоминаний у них не было, поскольку Прозоров жил в суворовском училище, приезжая домой только на каникулы, и если бы сложить все короткие сроки их встреч, то едва ли набралось бы и полгода... После смерти матери они и вовсе перестали встречаться, изредка переписывались, причем зачинщиком переписки выступал Андрей, и письма его походили на подробные объяснительные записки:

«Дорогой брат Иван! Я заканчиваю четвертый курс автотехникума, учусь неплохо, но стипендию зажимают. Через месяц у нас производственная практика, выезжаем в совхоз «Рассвет», на Брянщину...»

Заканчивались письма одинаково:

«Дорогой брат Иван! В настоящее время складываются временные трудности с деньгами, если можешь, окажи материальную помощь. С приветом, твой брат Андрей!»

Иногда таких писем за время долгих отлучек Прозорова накапливалось до пяти, и, читая эти словно под копирку написанные строки, он усмехался, поскольку фраза «учусь неплохо, но стипендию зажимают» повторялась во всех, без исключения, посланиях, равно как и горестное извещение о том, что «в настоящее время складываются временные трудности с деньгами».

Прозоров шел на почту и посылал деньги, и ответное его письмо умещалось на малой площади обратной стороны почтового перевода:

«Братишка Андрюша! Послал бы больше, но большие деньги портят и хороших людей, а потому вынужден сум-

му ограничить до разумных пределов. Привет! Твой Иван».

Тут Прозоров уяснил, что, несмотря на сегодняшний окрыляющий романтизм дороги, впереди ждет его встреча с человеком, увы, мало благополучным, а потому — кто ведает? — последуют обиды, просьбы ссуд, раздоры и трения... Куда он едет? Зачем? Чтобы опять, разочаровавшись, куда-то бежать? Но к кому? Впрочем, у него есть главное: жизнь, здоровье — и оптимизм. И — терпение, лимит которого покуда не исчерпан. А значит — все впереди!

Он сложил письмо, убрал его в карман брюк, затем влез на верхнюю полку, устроился на узком матрасе, сунув под него, в изголовье, рядом с вибрирующей стенкой, пачку денег и документы, дабы уберечь их от возможных посягательств злоумышленников, подбил ладонями плоскую подушку и уже через пять минут спал, убаюканный мерным перестуком колес.

Банда

«Самое большое несчастье... жить в эпоху больших перемен!» — говорит древняя китайская мудрость, и уж кому-кому, а русскому человеку превосходно знакома эта печальная истина. Обычно задумываются эти грандиозные государственные перемены людьми благородными, материально обеспеченными, а отчасти даже и праздными. Частенько, правда, эти люди не умеют толком устроить и наладить и свою личную, и семейную жизнь, но, когда дело касается общечеловеческих масштабов, тут им орудовать всегда как-то проще и способнее. Все эти перестройки задумываются с непогрешимым расчетом, на радость всему человечеству, с перспективой ясной и в высшей степени мудрой. И даже последнему дураку, которому на пальцах растолкуют суть дела, становится совершенно очевидно, что да, перемены эти необходимы и коль скоро они осуществляются на практике — жизнь тотчас станет яркой и радостной, не в пример нынешнему унылому прозябанию.

«Нет, так дальше честному человеку жить нельзя, а нужно подправить вот здесь и здесь, маленько реформировать вот тут, чуть-чуть перестроить вон там!..» — вос-

кликает один просвещенный дурак, а за ним еще и еще один, и начинается грандиозная ломка всего и вся.

Легко ухватить черта за рога, да трудно после от них отцепиться.

И поднимается в государстве великая смута, идет раздрай и раскол, вырываются из темных щелей и глубин дремавшие прежде энергии, и вдруг начинают исчезать в никуда благородные люди, зачинатели всей этой благодати, а на их места вылезают и застыт свет божий такие отъявленные хари, морды, рыла, что тошно делается и умному, и дураку. Всем тошно в такие эпохи, и почти невозможно найти человека, которому жилось бы легко и спокойно. Разве что в каком-нибудь дальнем монастыре...

Сергей Урвачев по кличке Рвач не был здесь исключением; он тоже жил в постоянном беспокойстве и в тревоге, хотя со стороны могло показаться, что этот человек достиг такого влияния в обществе, что уж ему-то грех жаловаться на нынешнюю жизнь и бояться каких-либо напастей решительно не стоит. Если бы кому-нибудь в Черногорске ненароком пришла в голову такая крамольная мысль, то, во-первых, он ни за что и никому не высказал бы ее вслух, а во-вторых, постарался бы немедленно выкинуть ее из головы. Само имя «Рвач» вот уже на протяжении нескольких лет наводило на жителей города ужас, и тому имелись очень и очень веские причины.

В конце восьмидесятых старший сержант Сергей Урвачев вернулся в родной город, честно отслужив в десантно-штурмовой бригаде свои положенные два года. Теперь ему предстояло восстановиться на спортивном факультете Черногорского пединститута и продолжить учебу, но окружающая жизнь за время его отсутствия настолько переменилась, что планы эти, казавшиеся прежде естественными и единственно возможными, ныне, по здравому размышлению, расценивались им как донельзя простецкие и наивные. Но поскольку иных планов устройства своей судьбы он не выработал, то решил не торопиться и повнимательнее приглядеться к происходящему вокруг. Происходящее же было воистину удивительно. Страна гудела, как пчелиный рой, стоял самый разгар перестройки — время эйфорического брожения умов, бесконечных телевизионных дебатов о необходимости иной, демократической жизни, и витала в общественной атмосфере по-

куда еще не высказываемая вслух идея о неизбежности построения капитализма, развитие которого в России некогда прервала революция. Создавались первые коммерческие состояния, шло разделение людей на хозяев и работников и — повсеместно процветал рэкет, чьи схемы российские уголовнички творчески позаимствовали из произведений американского кинематографа, подменившего собой киноленты о доярках, честных милиционерах и прочих комударниках.

Стереотипы прежних социалистических карьерок или же устройство на хлебную точку Сергея не привлекали. Все это, как уяснил себе демобилизованный воин, отличавшийся склонностью к холодной логике, относилось уже к категориям отжившим, никчемным и бесперспективным. А потому следовало улавливать новые веяния, сулящие грандиозные и реальные перспективы, о которых ранее, в строго замкнутом круге тоталитарной действительности, можно было лишь отвлеченно грезить.

Да, менялся родной Черногорск, менялся захватывающе стремительно...

Сновали по улицам шикарные иномарки, в изобилии появлялся неведомый прежде импорт, обставлялись квартиры деловых людей итальянской мебелью и последними достижениями японской бытовой техники, гремела и блистала ночная жизнь в коммерческих ресторанах.

Присмотревшись, Сергей понял, что условия этого нового бытия диктуют откровенные бандиты, причем зачастую те, что, подобно некоторым его знакомым, вышли из провонявших мочой подворотен, считаясь прежде отребьем и шпаной. Однако теперь чернь и мразь, ранее копошившаяся на общественном дне, стала организованной силой, сумела объединиться в дисциплинированные стаи и напористо вклиниться в раздел сладких пирогов.

— Давай, Рвач, к нам в бригаду, — предложил ему едва ли не в первую же неделю после дембеля дружок детства. — Нам крепкие парни во как нужны! А за нами, брат, не пропадешь...

В том, что бандитским сообществам нужны «крепкие парни», Урвачев не сомневался, ибо в те первоначальные времена становления мафии громкие уголовные разборки проходили в городе ежедневно, вызывая большую естественную убыль в рядах бойцов, но вот последний пункт на-

счет «за нами не пропадешь» вызывал в нем очень крупные сомнения. Пропасть было легче легкого все по той же причине неутихающих битв с применением огнестрельного и всякого прочего оружия.

— Какие тут базары, Рвач, — не уставал уговаривать его дружок. — Ты же мастер спорта по боксу, призер... Десантура. Не пьешь, не куришь... Да тебя хоть сейчас возьмут! Пойми, люди нужны... И сразу все получишь — бабки, тачку, хату со временем купишь...

— Надо подумать, — уклончиво отвечал Урвачев.

— Что тут думать? Пусть философы думают. Или ботаники какие... Закрепят за тобой точку, вроде какого шалмана-ресторана, будешь дань собирать. И при деньгах, и всегда выпить-закусить бесплатно. Шоколад, а не житуха! Санаторий...

Из дальнейшего разговора с дружком детства Сергей сделал для себя окончательный вывод: в городе прочно утвердился уголовный мир со своей иерархией, деливший территории и доходы подопечных коммерсантов по собственным понятиям и принимавший в свои ряды зеленых чужачков лишь на должности молодых «солдат». Не более того, что, в общем-то, было закономерным. Однако перспектива трудоустройства в «шестерки»-боевики Урвачева несколько не привлекала. В голове его начинали роиться куда более заманчивые и широкие планы, отличавшиеся такой решительностью и дерзостью, что до поры их следовало тщательно скрывать.

Вежливо, но твердо отказавшись от предложенной чести влиться в ряды сплоченного криминала, Сергей Урвачев в конце концов вернулся в институт, впрочем, не столько для того, чтобы продолжить учебу на факультете физкультуры, сколько для обретения пристойного социального статуса. Одновременно он продолжал лелеять и вынашивать свои тайные замыслы, но, чем больше думал над ними, тем вернее выходило, что в одиночку на сегодняшний день сделать ничего не удастся, и как ни крути, а нужен ему для начала крепкий союзник и толковый единомышленник.

Замечено, что, когда человеком овладевает руководящая идея, сама жизнь как бы случайно и ненавязчиво начинает подбрасывать ему всевозможные варианты и средства для ее реализации. Потому, вероятно, что нет в мире

такой идеи, пусть даже самой нелепой и сумасшедшей, которая, однажды придя человеку в голову, не стремилась бы осуществиться на практике. И поистине ни из-за чего на свете не пролито столько крови, сколько пролито ее из-за всякого рода руководящих идей.

Но случается и так, что одна и та же идея приходит двум людям одновременно, и тогда, если верить классику, она становится силой. В очень скором времени Урвачев стремительно и близко сошелся с бывшим своим соперником по соревнованиям, отслужившим в спецчастях и получившим диверсионную подготовку — Егором Ферапонтовым. Сергею хватило буквально нескольких фраз, чтобы понять — вот тот человек, на которого можно поставить и с кем стоит затевать большие дела. А в ходе дальнейшего общения Урвачев окончательно убедился в верности своего первоначального впечатления.

У Егора Ферапонтова была точно такая же цель, как и у Сергея, и цель эта заключалась в том, чтобы решительно и в самые короткие сроки завоевать криминальный олимп Черногорска, вытеснив оттуда зажавшуюся и возомнившую о своем всемогуществу братву.

Да, им было о чем поговорить помимо армейского прошлого и нынешнего спортивного настоящего.

Говорили о будущем, должном состояться из того, что дали Урвачеву и Ферапонтову военная закалка и секция бокса. Говорили с позиций тех, кто не желает прилагаться к жизни, а обязан пойти наперекор ей, однако выбранный путь подразумевал лишь одно — завладеть благами сегодняшнего дня любыми средствами, без оглядок на чью-либо кровь.

Тем более уже начала складываться вокруг них, безусловных лидеров, команда с костяком из таких же, как они, спортсменов. И когда команда сложилась, настала пора конкретных действий. И эта пора начиналась с момента, именуемого у пилотов моментом «принятия решения». И Урвачев, и Ферапонтов прекрасно понимали, что данное решение должно исходить именно от них, исходить как жесткий приказ, поскольку какая-либо коллегиальность, соотносимая с памятными им и смехотворными комсомольскими собраниями, — предтеча будущей смуты в рядах солдат, каждый из которых, как известно, мечтает о маршальском жезле.

Однако — с чего начать? Выдумать нечто новенькое в бандитском бизнесе? Изобрести собственный велосипедик? Или же — попросту усовершенствовать существующий? А как усовершенствовать?

Думали долго и разное. И наконец пришли к выводу: существующей силе можно противопоставить лишь силу более значительную, вот и вся идея. Причем значительность силы не обязана выражаться в количестве, но в качестве — непременно. И это новое качество — залог их победы. То бишь вопрос, на кого именно из коммерсантов предстоит «наехать», был сугубо второстепенным. Первостепенным же являлось решение иное, стратегическое — каким именно образом «наехать». И в основе такого решения лежало то, что в традиционном уголовном мире, живущем по законам «понятий», именуется словечком «беспредел».

Пробной жертвой был избран хозяин одного из небольших ресторанчиков, считавшихся в городе элитным: зальчик, стилизованный под деревенскую избу, мордастые малые в вышитых сорочках и хромовых сапожках, официантки в пестрых кокошниках, любовно приготовленные блюда домашней русской кухни... Этот ресторанчик с восторгом от погружения в невиданную псевдоэзотику посещали иностранные гости, в основном — бизнесмены, привлеченные в Черногорск жадной участью в доходах местной металлургической промышленности и всякого рода посредничествах.

Хозяин ресторанчика — сорокалетний тертый типчик с отвислым брюшком, выпирающим из-под легкой шелковой рубашечки, в вырезе которой болталась толстая золотая цепь, выслушал предложение Ферапонта об уплате дани с ленивой, умудренной безучастностью, даже брезгливостью. Затем заученно и постно произнес:

— Я, ребята, спрашивать вас, кто такие, не стану, в дебаты вступать также не намерен, а скажу одно: уже плачу, извиняйте, а коли желаете встретиться с моими дойщиками, то с удовольствием вам данное свидание организую.

— Организуй, — согласился Урвачев, внимательно разглядывая дялягу, от которого исходило непоколебимо безмятежное спокойствие.

Природу такого спокойствия Урвачев понимал: коммерсант был справедливо и твердо уверен: встретятся его авторитетные шефы с этой зеленой уголовной порослью,

расставят все на свои места, и более не увидит он этих крепко сколоченных мальчиков, ибо стороной будут обходить они его, низко и издалека кланяясь. К тому же наверняка не впервой представлялась ресторанщику возможность общения с молодыми голодными шакалятами, рыскающими по городу в поисках легкой, покуда не замеченной старыми волками наживы.

Да, понимал Урвачев, что нынешний разговор происходит в рамках старой, избитой и явно проигрышной для него схемы, но ничуть не смущался, ибо каждой клеточкой своего существа был убежден: он сломает схему! Сломает напрочь.

Ресторанщик поднял твердой рукой телефонную трубку, невнятно проговорил в нее что-то, устало кивая, выслушал ответ, а после равнодушно передал Урвачеву сообщение от неизвестного абонента:

— Завтра в десять утра, шестой километр северной трассы. Устроит?

Урвачев кивнул.

— Их устроит, — усмехнулся ресторанщик в трубку, снова кивнул умудренной своей головой и — отключил связь.

Расстались молча, не траясь на прощальные слова.

А уже полднем следующего дня уголовный мир Черногорска был потрясен мгновенно разнесшейся по городу новостью: неизвестный молодец, вооруженный топорами, ножами и арматурными прутьями, приехав на «стрелку» с солидными людьми и не вступая в сколь-нибудь приличествующие объяснения, отметил их столь зверски, что это не укладывалось ни в какие представления об основах общеуголовного гражданского права.

И радужные представления ресторанщика о своей железобетонной защите сменились тревожными мыслями, ибо, в силу чисто технических причин, на повторную апелляцию ему рассчитывать не приходилось: молчали телефоны разбитой «крыши», переместившейся в палаты реанимаций и потому, увы, объективно недееспособной.

Вслед за получением печального сообщения о жутком побоище снова явились к нему наглые отморозки, причем на сей раз — с теми же топорами, что в тревожных слухах упоминались, и пришлось начинающему капиталисту униженно юлить перед ними и оправдываться: мол, вы са-

ми поймите, господа... поставьте себя на мое место, я же все делал, как было приказано...

— Короче, — вогнав в столешницу топор, спросил его Ферапонт, — ты все понял?

— Да-да-да-да...

— Платить будем?

— Будем-буде-буду-бу...

Мысли рестораниста, торопливо отсчитывавшего запрошенную сумму, и Урвачев, и Ферапонтов опять-таки отчетливо понимали. И были эти мысли, как и в прошлый раз, логичны и ясны: мол, ничего, все наладится, выйдут защитнички из больницы — и наведут прежний порядок! В два конца никто не платит! А заплаченное сегодня — учтется завтра. Не смогли уберечь меня от урона — ваш это урон и есть, математика простая. Но досадная. И прежде всего для вас, господа урки! Где ваши гарантии безопасности? Нет, как ни верти, а за учиненный беспредел отморозки свое полной ценой получат!

В несомненно правильном направлении текли мысли «терпилы», но только незатейливую логику этих мыслей и Урвачев, и Ферапонтов проанализировали еще до того, как решились на свой первый «наезд» и противопоставили данной логике собственную — не останавливаться на достигнутом, не вязнуть в разборках, а, напротив, агрессивно, целенаправленно и круглосуточно подминать под себя новые и новые жертвы, безжалостно и кроваво громя их уголовных адвокатов... И банда, следуя выверенному, распisanному по времени плану, ринулась в решительную атаку на замешкавшегося, усыпленного благополучием противника.

Формальное руководство шайкой осуществлял Егор Ферапонтов, как человек более старший и более жесткий, Урвачев же скромно подвизался на вторых ролях, безропотно приняв на себя роль «правой руки». Он же отвечал за пополнение «солдат», чья численность возрастала день ото дня. За романтикой некоего разбойничьего братства, за легкими денежками и разудалой жизнью шла к нему молодежь — безработная, без царя в голове, дети того рабочего люда, который, выстроив на своих костях этот промышленный город, оказался выброшенным на помойку жизни. Трудовой подвиг отцов и дедов эти ребята по-

вторять не хотели, ибо вознаграждение за этот подвиг было перед их глазами.

Пополнение нуждалось в конкретном трудоустройстве, а потому, помимо ставшего уже традиционным направления — рэкета, приходилось прокладывать иные стези, ничем оригинальным, увы, не отличавшиеся: разбои, грабежи и кражи.

— Самое главное, — не уставал проповедовать Ферапонт, в интонациях которого уже появилась осанистость суждений, присущая номенклатурным бюрократам, — навести побольше жути. Нужно убивать нецивилизованно, то есть — страшно... Пистолет... он... это... явление культуры. Люди не так боятся пули, как они боятся топора, пилы... да той же рогадины...

Уголовный мир Черногорска не успевал опомниться от стремительности действий нового криминального формирования и поразительной жестокости, с которой оно действовало. На разборках «спортсмены» отрубали руки-ноги достопочтенным уголовничкам, вспарывали им татуированные животы с бестрепетностью патологоанатомов и в лютоści своей, чувствовалось, имели намерения идти до конца.

Впрочем, подобное «бесстрашие» объяснялось еще и тем, что в банде, где уже существовала четко организованная структура технического и транспортного обеспечения, боевиков — исполнителей убийств и телохранителей, сборщиков податей, курьеров, хранителей постоянно закупаемого оружия, службы наружного наблюдения за жертвами и противоборствующими группировками, в этой уже состоявшейся мощной шайке бытовал простой принцип: смерть за нерадивость или за неисполнение приказа. В наидание подчиненным Ферапонт то и дело устраивал показательные казни, имевшие большое воспитательное значение.

В преступных кругах Черногорска и области царило смятение уже хронического свойства: устоявшийся уголовный мир с его старыми «кадрами» явно проигрывал в противостоянии напористым и бестрепетным «новичкам»... Проигрывал не только «точки» и деньги, но — жизни. И слухи — один жутче другого — ползли среди коммерсантов, уже безоговорочно сдававшихся «крыше» Ферапонта, ибо все знали: откажись, начни юлить, очень

скоро найдут тебя на одном из пустырей с разможенным черепом и вспоротым брюхом...

Успехи в реализации проекта, родившегося в стенах педагогического института, окрыляли Феррапонтова и Урвачева. Окрыляли власть, страх, внушаемый ими тысячам людей, вседозволенность и вседоступность... И, конечно же, деньги, которых требовалось все больше и больше. Основные затраты шли на покупки автомобилей, стволов, спецсредств, новейшей аппаратуры прослушивания... Несколько раз Феррапонт лично летал в Англию, где, не скупясь на коммиссионные, сумел добыть и переправить на родину спецтехнику для прослушивания радио и кабельных телефонных разговоров, ведения скрытой видеосъемки и звукозаписи. Менее всего поделщиков беспокоила затратная часть на «зарплату» исполнителям: от пятидесяти до ста долларов в месяц... Хватит! Обойдутся! А кто недоволен... Впрочем, недовольства вслух никто не изъявлял. По причинам вполне понятным, ибо не раз братки были свидетелями жесточайшего подавления ослушания и публичных показательных казней, совершаемых Феррапонтом над своими людьми за малейшую провинность.

Для поддержания дисциплины и порядка Феррапонт регулярно прослушивал задушевные разговоры своих подчиненных и в случае малейшей тени измены или двурушничества немедленно отправлял подозреваемых на тот свет.

Впрочем, помимо инвестиций в бандитский бизнес, основные партнеры не забывали и о собственном благополучии, затеяв строительство огромных загородных домов с теплыми бассейнами, купив себе целый автопарк новеньких иномарок и коллекцию ювелирных изделий. К отбору гардероба также подходили с широтой и изыском: носили не то что костюмы, но даже и трусы исключительно от Кардена и Версаче.

Но главное, что над всеми этими внешними признаками благополучия главенствовало безусловное ощущение себя полновластными хозяевами той новой жизни, что уже прочно укоренилась в стране. Они никого не боялись. Да и кого, собственно, следовало опасаться? Потерявшейся в суматохе идеологических и политических перемен нищей милиции? Разгромленного и раскритикованного

КГБ? Жалких прокурорчиков в их обветшалых кабинетах с кривой казенной мебелировкой и карандашами?

«Эх, было времечко!» — будут говорить они позднее, и мечтательная сентиментальная поволока станет подергивать стальные немигающие взоры...

Да, стояло подлое и смутное время, когда монолит державы, внезапно превратившийся в студень, аморфно и неотвратимо стекал под откос...

Прозоров

Проснулся Иван рано, наскоро умылся и вышел в туман. Серые безвидные пространства пролетали за окном, но иногда в расположении двух-трех деревьев, в стремительном изгибе небольшой туманной речушки, в пологом косогоре, обрамленном купами темных кустов, чудилось ему что-то до боли знакомое и родное, как будто видел он все это прежде не раз и не два, просто все это давным-давно плотно улеглось на дне памяти и вот только теперь память, еще до всякого рассуждения, вскидывалась и отсыпалась на увиденные, но позабытые картины.

Что-то плавно и мягко переменялось в движении вагона, зудящая нотка возникла в стуке колес на стыках, — поезд стал замедлять ход. Чувствовалось приближение большого города, потянулись за окном одноэтажные посадки, белая колокольня показалась вдалеке...

«Скоро будет переезд», — подумал Прозоров, волнуясь. Он неожиданно ярко и живо вспомнил тот долгий и давний день, когда с мамой шел через этот переезд, нагружившись узлами, и мама сказала, указав куда-то в сторону подбородком:

— А вот, кажется, и наш дом. Улица Розы Люксембург, тридцать семь.

Иван сразу увидел веселый нарядный домик, выкрашенный яркой зеленой краской, с белыми наличниками и красной крышей... Но, не доходя до него, мама опустила свои узлы у серого сплошного забора, из-за которого выглядывал дом иной — хмурый и темный.

Квартирной хозяйкой оказалась молчаливая грузная старуха в черном платке, повязанном по-монашески. Известно было, что каким-то сверхъестественным способом, не перемолвившись ни с кем из жильцов и парой фраз,

она сумела стравить и перессорить поочередно уже несколько крепких, проверенных жизнью семей, которым привелось снимать здесь жилье.

Семьи эти в итоге съезжали со скандалом, разводом и проклятиями, но мама маленького Вани Прозорова все-таки, несмотря на предупреждения соседей, решила поселиться именно здесь, прельщенная дешевизной сдаваемой комнаты.

— Уж нашу-то с тобой семью никто не разрушит! — улыбаясь, сказала мама, поставив вещи в углу. Затем подхватила Ванюшу под мышки, звонко поцеловала в щеку и высоко подняла над полом. — Ах, какой тяжеленький! — проговорила восхищенно. — Настоящий мужичок!

Она стала кружить его, как часто делала и прежде, когда он был маленький, но на этот раз вышло не совсем удачно. Поплыли беленые стены, кровать с ковриком, коричневый шкаф с туманным от старости зеркалом, на дне которого вспыхнуло отраженное окно, темный таинственный проем открытой в коридор двери, диванчик, затем озарилось настоящее окно, а потом ноги Ивана ударились об угол шкафа, — комнатка была слишком тесной. Мама вдруг замерла и медленно опустила Ваню на пол. На пороге комнаты в проеме открытой двери стояла старуха в черном платке и молча глядела на них. Так состоялось первое знакомство Ивана со старухой.

У нее было странное имя — Ада Адамовна, и она была настолько старой и ветхой, что действительно показалась маленькому Прозорову дочерью самого Адама. Но — прочь уныние! Какое веселое и счастливое слово — «новоселье»! И месяц этот, кажется, был самым счастливым в жизни Ивана Прозорова. Стоял солнечный сентябрь — бодрый, хотя и чуть-чуть грустный, и, пожалуй, единственная горечь, которую испытал в эти дни Ваня, была горечь от сорванной им и разжеванной рябины.

В сентябре самое синее небо, в прозрачном воздухе сверкала длинная паутина, и паутина эта высоко и свободно летела через тихий провинциальный город.

Мама уходила рано утром, когда Иван еще спал, вернее, притворялся спящим: лежал, не открывая глаз, чувствуя на веках дрожащее солнечное марево. Мама склонялась над ним и, обдав чудесным запахом духов, легко целовала в лоб и убегала. Ваня лежал не шевелясь, стараясь

не разрушить этого хрупкого счастья, и снова задремывал с улыбкой на устах. Проснувшись, умывался из алюминиевого ручкомойника, с наслаждением мылил руки земляничным мылом, нюхал розовый кусок, прежде чем положить в мыльницу, затем шел в маленькую сумрачную кухню с изразцовой печкой-плитой в углу. Здесь уютно пахло углем и керосином. Находил на столе термос с чаем, вареное яйцо, ломоть черного хлеба...

Да, он был счастлив в этот месяц как никогда в жизни.

Позавтракав, он выходил во двор и садился на скамейку у крыльца. На самый краешек, потому что на скамейке этой обычно сидела уже старуха, греясь на солнышке.

Удивительнее всего в этой старухе было то, что она целыми днями неподвижно сидела здесь, опершись обеими руками на клюку, и глядела на одинокую корявую яблоню, на забор и на крышу соседского сарая, точно прощаясь с ними перед дальней дорогой.

Маленький Ваня находился на одном краю жизни, совсем еще недалеко отойдя от той непостижимой Вечности, откуда он чудесным образом появился на свет, а старуха уже приближалась к другому краю, уже заглядывала в ту же непостижимую Вечность, куда ей скоро предстояло кануть, и в этом, по-видимому, их возрасты как-то внутренне совпадали. Ада Адамовна много и охотно разговаривала с ним.

Почему-то Ада Адамовна настоятельно рекомендовала ему идти в военное училище.

Поначалу Иван опасался разговаривать со старухой, боясь, что она как-нибудь разрушит их семью, но вскоре выяснилось, что семья может разрушиться и без всякой старухи.

По вечерам мама стала приходиться поздно, и Иван, ожидая ее, часами просиживал у окна. Из окна комнаты был виден железнодорожный переезд. Переезд почти всегда был перекрыт полосатым шлагбаумом, перед ним попеременно мигали два красных фонаря и прерывисто заливался электрический звонок. Железная дорога была оживленной: поезда грохотали во всякое время суток в ту и в другую сторону. Именно по этой дороге мама вернулась из Средней Азии, забрала Ивана из детского дома, и они поселились у старухи.

Прозорову больше всего нравилось именно то, что окна комнатки выходили на железную дорогу, ему сразу понравились эти ночные шумы — пронзительные звонки, за-

рождающийся где-то далеко шквал приближающегося поезда, который надвигался и нарастал, как всемирная неизбежная катастрофа, а затем, сотрясая землю, поезд некоторое время вместе со своим грохотом как бы стоял на месте, словно прикованный чугунными скрепами, стуча колесами, ярясь и роя землю, а в конце концов срывался и уносился прочь, и долго еще длилось медленное затухание звука.

Где бы он ни жил после, ему долго-долго не хватало этого живого ночного грохота, мелькания света на стене, звона, дребезжания посуды в буфете...

Железная дорога разделяла город на две части — на каменную с четырехэтажными и пятиэтажными домами, а также с целой улицей девятиэтажных домов с лифтами, в которых жило начальство обогатительного комбината, и на деревянную половину, с палисадниками, огородами, яблонями и лопухами у заборов. Деревенская половина была лучше для жизни, милее, уютнее, просторнее, но тем не менее все ее жители завидовали обитателям каменной части, потому что у тех была «горячая вода и балконы». За престижной каменной частью высились гигантскими металлическими коробами и закопченными трубами обогатительный комбинат.

В конце сентября в одну ночь погода резко переменилась, завыл за окном порывистый сырой ветер, хлынули с деревьев листья, потемнело небо от туч. А вечером того сумрачного дня мама вернулась вместе с каким-то толстошеким дядькой, который мигом натоптал у дверей луж, высвободился из гремящего жесткого плаща и, хлынув чужим враждебным духом, прошел мимо застывшего Прозорова к столу, поставил со стуком бутылку красного вина. Чужой дядька оказался дядей Жоржем, прапорщиком местной воинской части, о котором мама, улучив секунду, пока тот гремел рукомошкой, шепнула, что это «очень серьезно, страшно серьезно, поди, Ванечка, погуляй...».

Вот таким неожиданным и подлым образом счастье Прозорова кончилось вместе с солнечными денечками...

Через месяц он оказался в другом городе, где располагалось известное на все страну суворовское училище. Так что вовсе и не старуха разрушила их семью.

А когда Иван Прозоров, окончив училище, вновь не-